

Глеб Иванович Успенский

**Мнения фельдшера
Кузьмичова о
современном обществе**



Глеб Иванович Успенский
Мнения фельдшера
Кузьмичова о
современном обществе
Серия «Скучающая публика», книга 1

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=665355

Аннотация

«...Фельдшер Кузьмичов – интеллигент из крестьянской среды, посвятивший свою жизнь общественному служению. Успенский показывает, что он служит народу «не на словах, а на деле». Деятельность фельдшера противопоставлена хищнической деятельности представителей буржуазии.

Сохранившиеся в архиве писателя рукописные отрывки свидетельствуют о тщательной работе Успенского над рассказом о фельдшере Кузьмичове. Современная критика отметила высокое мастерство речевых характеристик персонажей писателя...»

Содержание

Примечания

33

Глеб Иванович Успенский

Мнения фельдшера

Кузьмичова о

современном обществе

... Сквозь крепкий, тяжелый сон давно уже ощущал я признаки какой-то суеты вокруг меня, надо мной и около меня, но решительно не мог раскрыть глаз. Что-то гремело и стучало над головой, что-то билось у самой головы, уткнувшейся в подушку лицом, что-то шумело и надо мной, и близ меня, и где-то далеко... И только тогда, когда все это стихло, я вдруг открыл глаза и понял, что это пароход останавливался у пристани, что около моей головы бились волны взбудораженной пароходом Волги, что на палубе вверху бегали рабочие, смурывали канаты и гремела рулевая цепь.

Открыл я глаза, а вставать не хочется; ослепительные лучи утреннего солнца, отраженные водою на белый потолок общей каюты, играют, зыблются и слепят; в круглое окно подувает легкий свежий ветерок с запахом речной воды, по временам же и запахом рыбки, а подчас и нефти. Но лежать покойно, хорошо, и вставать не хочется. И вот, лежа и не поднимая головы, я узнаю, что в каюте есть пассажиры, которых совсем не было, когда я в Нижнем вечером сел на пароход.

Один лежит и кашляет у меня в головах, а другой, вероятно, за общим столом чай пьет: слышно, как звякает в стакане чайная ложечка.

– А что капитан-то? Куда он девался? – сиплым, не то простуженным, не то опившимся голосом, хотя и с мягким и добрым оттенком, спрашивает пассажир, лежащий У меня в головах. – Ай вылез на пристани-то?

– Видно, вышел... Не видать что-то... Я, признаться, за-
снул, станции две проспал, не видал... Должно быть, вышел,
и вещей нету...

– Однако, – кашляя сухим, тяжелым кашлем, продолжал мой сосед, – досталось ему по женской части, как порассказал! Довольно искусно!.. Должно быть, и баба тоже попалась вострая.... Я считал, считал и счет потерял, сколько у ней душенок-то перебивалось... Наконец, того, в сумасшедший дом упечатала!.. Эво как! В сенат, что ли, хотел жаловаться?

– А право, уж что-то не припомню... кажется... впрочем... в сенат.

– Как же! в сенат и в правительствующий синод... А по моему в эфтом разе оставь, уйди... Коли сам весь в дырах, так уж что тут, какой синод. Ведь и ихнюю сестру тоже надобно пожалеть: из нашего брата сволочи-то тоже, слава тебе господи, сколько... Тоже ведь!..

– Как вам сказать? – с оттенком как бы серьезной задумчивости в голосе проговорил собеседник, пивший чай. – Конечно, причем же тут может быть святейший синод или, на-

пример, сенат? Но я вам вот что скажу: даже и молодому человеку, который, положим, что имеет, например, возможность, и то весьма трудное это дело, то есть женская часть!

– Н-не знаю! Не знаю я этого... Я даже так скажу: опасюсь и соваться в эти дела; то есть, например, по этой самой дамской части... А что ежели сказать по совести, по чистой душе, так я склоняюсь к арфисткам! Перед истинным богом! Это я скажу при вас ли, при ком угодно... Чего мне утаивать? Свиное, так оно и соответствует к свиному... Зачертишь недели на две – и бултых в омут, только и всего! Что же? Ежели итак взять: тоже ведь и они люди, арфистики-то!

– Я этого вопроса не касаюсь, а говорю.

– Чего уж касаться! Касайся, не касайся, а выше своего носа не прыгнешь. Мне маменька давно зудит: «женись, женись»... Зачем? По хозяйству у меня полон дом баб: маменька, две сестры. А ежели не для хозяйства, так я даже и опасюсь... Сам-то дурак да дуру возьмешь – будет два дурака... Имназистку? Так она училась, понимает... А я даже ежели цифру которую подлинней написать, и то ошибусь сто раз... Нешто нас чему учили родители? – Так вот я и думаю, что самое подходящее нашему брату – арфистка. Мусор к мусору – и обоих в помойную яму; туда и дорога! Ежели этакая-то мусорная дама иной раз и по морде тебе даст подгулявши, и то смолчишь: свой своему... А попадись нашему брату добрая, да умная, да смиренная, да, сохрани господи, ученая, так ведь мы ее должны на части разорвать, с одного, что она хо-

рошая... Наш брат тоже ведь, ух, какой дьявол бывает!

Все это сосед, лежавший у меня в головах, произнес медленно, совершенно спокойно, своим сиплым голосом, в котором я теперь ясно слышал ноту полной искренности и доброты. Даже такие выражения, как «свиное к свиному», «мусор к мусору», – выражения, казалось бы, рисующие негодование человека на самого себя, горькое сознание своих дурных свойств, – и они произносились им совершенно просто, единственно только как самые верные, несомненные определения, не больше.

Долго кашлял мой сосед сухим, удушливым кашлем после своего признания, и это заставило молчать собеседника, пившего чай.

– Отвечать на ваше предложение я не могу, – заговорил, наконец, собеседник, – я этих предметов не касаюсь, потому что человек я занятой. Но позвольте вам сделать такое замечание: с детства я нахожусь без роду и племени, без отца, без матери, положительно не имея пристанища. Что были дворовые при господах, да еще при жестоких? Ну, таким образом, я с самых первых ден видел самую горькую долю. Маменька была сослана за убийство ребенка своего, и не знаю... может, и жива еще! Каково это знать детскому сердцу? Следовательно, с детства я вполне понимал горе человеческое и видел крестьянские мучения, и душа у меня изболела... В последствии времени, когда это кончилось, господь меня призрел: приехал молодой барин, студент, человек совсем другого ро-

ду: ни псарни, ни этого кнутовья, ни чтобы насчет баб, ничего этого. Дом заколотил, жил в одной каморке; лечил мужиков... Совсем не то, что родители: добрый был, и призрел меня, обратил внимание, и вот в настоящее время я, с божиею помощью, имею кусок хлеба: я состою фельдшером в земстве; фамилия моя – Кузьмичов. Но только позвольте вам сказать: и земств много, и фельдшеров много, и членов, и депутатов – всего этого довольно...

– Сколько угодно! – сипло произнес мой сосед.

– Весьма много! Но так как, быть может, они не из нашего сословия, не знают горя, бедствия человеческого, то хоть и получают тысячи, но общественного блага от этого не видеть, то есть мало где можно встретить...

– Махонькими, значит, порциями? этак только на вилочку зацепить?

– Весьма вероятно! Но так как во мне из детских лет вкоренено печальное состояние ума и сердце приучено к содроганию, и потом учитель мой и благодетель, который, воззвал меня из ничтожества и постановил человеком, также мне внушал, что такое есть долг совести, так я без хвастовства могу сказать, что во мне есть совесть и есть чувство. Я хоть и двадцать пять рублей получаю в месяц, но, по совести, с любым членом, который глотает тысячи полторы-две, в сравнение себя не поставлю. Это я говорю честно, благородно. Я хоть фельдшер, ничтожная часть человечества, но я обществу служу не на словах, а на деле. На словах много охот-

ников, а ты поди-ка на деле, своими руками, носом-то своим сунься к болящему. А это в моей природе: сердце у меня нежное, и я скорблю! Приди ко мне мужик, или, например, пришли фаэтон какой-нибудь кулак, я пойду к мужику, а фаэтон подождет! Я смело могу сказать, что есть я деятель для общества; но не для себя. Я бы мог взятки брать, кулаков пользоваться, но, напротив, без хвастовства говорю, сам даю свои деньги мужикам. К иному придешь – ни свечки, ни хлеба, ни дров, горячей воды не на чем вскипятить, обмыть больное место. Ну и даешь! Кулак сунет тебе «рубь», а я его мужику отдам... Я говорю не то, чтобы я хвалился, а собственно доказываю, что во мне есть природа совестливая и убеждение.

– Не знаю! – сказал сосед. – У нашего брата не слыхать этого... Она нашему брату даже во вред, совесть-то: – препятствует! Живем себе так, без совести... постепенно острога дожидаемся... Ты вот по совести хлопочешь, пилюли даешь, а наш брат подвалит тебе сразу какого ни на есть смраду из своей фабрики в речку, да распустит его верст на двадцать, одурманит и скотину и народ, а ты лечи там, давай пилюли!

– Это нам вполне известно! Мы с нетерпением ожидаем санитарного надзора, и, вероятно, со временем и будет достигнуто. Дело не в этом... Я вас покорнейше прошу обратить внимание на мои слова: мы завели речь о женском вопросе. Теперь, взявши, например, мое положение, спраши-

ваю вас: могу ли я иметь подругу, которая бы соответствовала моему сердцу, чтобы она понимала мою скорбь о ближнем и чтобы она не только не препятствовала, но побуждала? И я вам отвечаю: трудно!

– Не знаю, голубчик! Не касался я этого! Вот как лопнет наш банк, да поведут нас всех, подлецов, на цепи, вот и будет окончание. А пока что, ввязался в омут, вертись да совесть из себя выбирай, как причал из воды... А больше мы не знаем! Не знаю я! Боюсь я этого! Даже и думать об этом нам не подходит!.. Врешь-врешь, вертись-вертись, да бултыхнешь туда, в «слободку», к «арфисткам», – ну, и будто в своем месте! Доберешься до навозу-то, ну оно будто и хорошо!

– Хотя вы, кажется, и преувеличиваете ваши взгляды, – после небольшого молчания проговорил собеседник моего соседа, – однакоже позвольте мне окончить мое мнение. Сколько я на своем веку ни соприкасался с женским вопросом, постоянно я вывожу заключение одно: очень трудно! И мне ведь тоже надобен иной раз угол, уют. Мерзнешь, мерзнешь по зимам-то, захочется в свободный час и погреться и слово сказать. Тоже существует сочувствие человеческое, называемое «рука помощи». Так – верите ли? – не выходит! Я теперича еду на новое место служения, а до сего времени я служил под столицей, близ большой станции железной дороги... Пункт бойкий, и служащего народу очень довольно. Дамского полу много. Даже так много, что, ей-богу, берет

жалость: куда, думаешь, денется весь этот народ? У всех жены, и все родят. И стрелочники, и телеграфисты, официанты, повара, кондуктора, начальники станций, депо – у всех, у всех дети, и все больше девочки... Мальчики – и так, и сяк, ну, а девочки? Куда, позвольте узнать?

– А мы-то? – сказал сосед тем же беспристрастным тоном своего осипшего голоса. – С-слопаем! Это мы всё счавкаем, сделай милость!.. В-ссё!..

– Знаю! Знаю я это и без числа сам видел. В этом-то и состоит чрезвычайное огорчение... И верите ли, какой был случай на моих глазах? Один обер-кондуктор, мало того, что от жены у него трое ребят, еще монашенку совратил (тоже пошла в монастырь из бедности), в своей квартире поселил и от нее двое уж, а в последствии времени нянька к нему поступила, так и тое!

– Да чего ты? Я тебе скажу, в Воронежской губернии купцы Белокуровы купили имение, так праздновали новоселье, и один наш был там, захватили его в Москве, так рассказывал: «Загон, говорит, против дому сделали. Против-то дому роцца, так обнесли вишь ее столбами, по столбам канат вытянули да со всей округи баб и девок созвали и загнали в загон-то, перепоили, да, как стемнело, и пошли забавляться... Как волки, вломятся туда, в загон-то, подхватят что по вкусу и продолжают». Вот как бывает! А это что! Обер-кондуктор! Тут чисто как волчья стая. И никто не пикнет, потому «платим»!.. Поди-ка, откажись от щеколадной бумажки-то!.. От-

казываться! Сами идут.

– Я про то и ужасаюсь, что сами, сами... Куда им деваться? Да что? Когда это обер-то кондуктор, как я вам рассказывал, няньку-то молоденькую вовлек, так та сначала было жаловаться хотела. Так что ж вы думаете? Сама жена и монашенка-то стали ее усовещивать, стали уговаривать, что, мол, «живи с ним, молчи, а то от места откажут». И сам-то он этим же действует: «Только, говорит, пикнешь, сейчас откажут; все подохнете голодом, со всем вашим племенем нарощенным». Молчат, живут, родят, друг дружку уговаривают... Вот вы чему подивитесь... Однакоже узнало начальство, и теперь, я слышал, точно что отрешили от должности, так что теперь извольте сосчитать, сколько народу должно по миру пойти?

– Да мы еще прибавим этакого же племени!

– Глядевши только на это, и то содрогаешься: куда это девать? Ведь, наконец, отвечать надо перед богом за человеческую жизнь. Но, с другой стороны, если взглянуть с такой точки зрения, чтобы начальство оставило этого самого оберкондуктора на своем месте, так ведь сколько бы он еще ихней сестры перекалечил? Человек, прямо сказать, зверь, первый плут по всей линии... Деньжонки у него водились, потому что, откровенно сказать, даже на паре брался провезти сколько угодно – и народу и товару – и никакое начальство сыскать не может... Весь поезд обыщи – ничего не найдешь, а он везет двадцать человек... Деньжонки у него завсегда во-

дились. Так сколько бы, говорю, напортил и народил?

– Что ж? Ничего! Сколько угодно! Пока бог грехам терпит, да ежели, паче чаяния, еще годов восемь-девять в острог нашего брата не пригласят, ничего! Вали, слопаем, сколько ни народи!

– В этом-то и заключается горе; и, главное, все это явственно, как на ладони, – вот перед самыми глазами, – и что ж? Которые вот, как вы говорите, женщины или девицы не слопаны, даже нисколько не страшатся! Как поезд подходит, полна платформа женского сословия; гуляют, пока есть во что одеться да есть что жевать. Мужичьего труда не знают, мастерством много не наживешь, да и много уж очень народу: пять девиц-швей на одно платье, гуляют себе, дожидаются, не подвернется ли жених, а не жених, так вот такой же обер, а не обер, так и так кто-нибудь, кто болтать мастер да посулы сулить. «Ведь вы же видите, Авдотья Петровна, говорю, бедствие: с одной то-то вышло, с другой то-то, с этой еще хуже, а сами стремитесь расплодить голодных? Не лучше ли вам выйти за мужика? По крайности при доме». – «Вот, стану я с мужиком жить!» Вот ихний рассудок!

– Да ведь тоже, поди-ка, поживи с мужиком-то, попробуй-ка его оглоблевой науки!

– И это знаю, знаю я! Но ведь лучше же трудом жить, чем так, невесть на что рассчитывать. Ну, пироги пеки, продавай, экзамент выдержи, учи, получай там что-нибудь! А то ведь в сиделки даже в больницу, на жалованье, и то с боль-

шим затруднением идут: все неведомо на что рассчитывают. «В депо еще, говорят, двое холостых остаются». – «Но позвольте, говорю, вам заметить, Марья Ивановна, что, во-первых, в депо Андреянов ни во веки веков не женится, а во-вторых, что у него сломана при столкновении нога; что ж касается Капустина, то потрудитесь счесть, сколько на него одного приходится девиц вашего положения? А ведь все только и думают, что «в депо еще двое остались». Позвольте, говорю, вам заметить, что в отношении этого дела и телеграфистам, и стрелочникам, и обер-кондукторам, и в депо, и в подвижном составе – везде, наконец, должны обозначиться предел, мера и граница». – «А может, какие другие должности произведут?» И хотя бы малейшая плачевность! Даже о себе нет никакого серьезного попечения, не то что о других. Случись с кем грех – сейчас осудят, а подумать, что и самой может угрожать падение, ни во веки веков!.. Так вот извольте судить, возможно ли, предположим, хотя бы мне найти себе подругу или какое-нибудь осмысленное существо, хотя приблизительно? Откровенно скажу, много их ко мне стремилось... Все ж таки у меня место, жалованьишко какое ни на есть, да и, молва про меня не худая; напротив, все довольны, потому что я исполняю свое дело благородно и серьезно. Думают также они, что я, по примеру прочих, и мошенничаю, ворую в больнице и что, следовательно, у меня есть доходы, и в конце-концов, конечно, главное то, что я не женат. По этому случаю много я их вижу. «Михал Ми-

халыч! У меня болит палец». – «Позвольте!» Осматриваю, ничего нет! Погляжу ей в глаза, а там все и обозначено. Говорю: «Во-первых, вам надо руки держать опрятнее, а во-вторых, заниматься каким-нибудь трудом, шить, или писать, или на огороде, тогда пальцы ваши будут здоровы. До свидания!» – «У вас никогда не добьешься ласкового обращения...» – «Что делать! я занят делами!» – «Какие вы грубые...» А иная придет (всё в больницу ходят, потому что я всегда занят) и затрещит опять все то же: «Михал Михалыч! У меня палец заболел...» – «Где именно?» – «На руке». – «Позвольте!» Только отвернешься за чем-нибудь, а она уж забыла, что и говорила-то; возвращаюсь: сняла чулок, показывает коленку. «Это что ж такое?» – «Я забыла...» А глазами все и рассказывает. «Ну, сударыня, говорю, потрудитесь идти домой; вспомните, где именно у вас болит, тогда и приходите!» – «Да я и теперь помню». – «Где же и что?» – «Больше ничего, приходите к нам чай пить, а потом пойдемте гулять на озеро... Я вам что-то скажу!» – «Душевно благодарен, но у меня обязанности», то есть надевай, матушка, чулок и ступай куда тебе угодно, если не хочешь серьезно обдумать свое положение. То есть, ни малейшего абсолютного развития и чистокровный абсурд в голове! И ведь не то, чтобы притворялись или лгали, нет! все по чистой совести! Одна такая-то ведь как меня потрясла. Явилась также вот, уж не помню с чем-то, с пальцем или с чем другим, – то, се... вдова, трое ребят, молодая женщина... А мне что-то пригрустнулось, а

может, и делов не было, только что думаю: «Зайду так, посидеть». Ведь одуреешь, молчавши-то! Зашел. Ну то, другое. Разговариваем. Я излагаю свои мысли, что, мол, женщина должна способствовать, а не препятствовать, побуждать, а не опровергать; говорю, что общественное благо выше узкого эгоизма, что женщина должна выйти из замкнутого узколобия и обращать внимание также и на общественную пользу. Развиваю свои мысли подробно. Слушает, кажется, слова не проронит, наконец, говорит: «Как вы, говорит, хорошо говорите, Михал Михалыч, что я даже все понимаю, а как говорят другие прочие служащие, то ничего нельзя понять, потому что одни глупости. Если бы мне опять выйти замуж за такого человека хорошего, как вы, то я бы, говорит, не только что не стала препятствовать общественному благу и затруднять его поприще служения (ведь запомнила слова-то!), а даже бы, говорит, которые у меня от покойного мужа остались трое детей, то я и их готова искоренить со света, чтобы только предаться любимому существу!» Отпечатала мне она этакую-то прокламацию и сидит, сияет, думает: вот она мне в самый раз по мыслям попала, а я так – верите ли? – просто за нее-то со стыда сгорел! Не знал, как убраться домой, обалдел даже совершенно! Так вот как они понимают общественное благо!

– Не знаю! Не знаю этого! Чего не знаю, о том говорить не могу, – покашливая, пробормотал сосед.

– И таких-то эпизодов в моей жизни – сметы нет! По-

смотришь, обратишь внимание, а тебе в конце-концов, такую засветят ерунду, что только давай бог ноги. Ничего кроме мучения! В последний раз, я вам расскажу, так я был до такой степени изумлен, что даже место решил оставить; думаю: «уйду куда-нибудь подальше и отрекусь навсегда от сочувственных мыслей»... И еду вот теперь в Вятскую губернию, в самые дикие места... Познакомился я тоже, уж это, стало быть, после той вдовы, что я рассказывал, с другой вдовой. Тоже женщина молодая, и детей нет. По примеру прочих дам, пришла она в больницу, только не с пальцем и не с каким-нибудь притворством, а довольно сурьезно... «Просто, говорит, хотелось посоветоваться с вами: осталось у меня после мужа тысяча рублей, так вот мне бы и хотелось поговорить, как лучше сделать: торговлю ли какую открыть или пойтить в монастырь?» Объяснила она мне, что есть монастыри, где принимают с тысячей рублей на вечные времена: деньги отдай и живи до самой смерти. Говорит она это хорошо, честно, благородно. А у меня перевязка, времени нет. Приглашает зайти, поговорить. Подумал, говорю: «Хорошо! вечером зайду!» Вечером действительно я пошел к ней, и – откровенно вам скажу – очень она мне понравилась: и в домишке у ней хорошо, чисто, тепло, и разговор простой. Думаю: попробую я ее несколько поразвить. Куда ей в монастырь или в лавку?.. В обоих случаях одно дармоедство и праздное существование. Нельзя ли, думаю, как-нибудь порасширить у нее интеллигентные точки зрения и кругозор?

ры? Поговорил в этом смысле. Говорит: «Я и сама думаю, что будто не подходит мне ни в торговки, ни в монахини»... Закуску подала, водку; я, конечно, не пью, не люблю этого; попил чаю, ушел. Звала заходить, просила подумать. Подумал-подумал, вижу, что, кажется, почва будет благоприятна. Совесть мне указывает, что при таких условиях, я даже права не имею бросить человека, а должен содействовать. Надобно сказать, что я страсть как охоч до книг. Чуть мало-мальски свободный час, сейчас я за книгу, за журнал, газету... Все, что есть у нас на станции, у инженеров, в депо, у прочих служащих, – все это я постепенно перечитал. Задумавшись о вдове, прихожу к мысли – начать с чтения. Отобрал кой-где несколько экземпляров с тенденцией, понес, дал ей. Говорю: «Ваших вопросов, с которыми вы ко мне обращались, я еще не разрешил, а вот, говорю, пока что, не хотите ли от скуки заняться чтением?» – «Очень рада!» Даю ей роман и серьезное сочинение. – Взяла. «Неприменно все прочитаю!» Отлично. Захожу как-то. Говорит: «Роман прочитала, а эту книгу, серьезную, не могла прочитать, ничего не поняла». И это мне понравилось: не врет. «Что же вам в романе особенно нравилось?» – «А нравилось про любовь, разговоры понравились, где короткими строчками написано, а где густо напечатано, так скучно!» И опять пришлось мне по вкусу и эти слова. Хорошо. Продолжаю разговор, говорю: «Напрасно вам такие именно места понравились». Начинаю разъяснять главную идею, говорю: это вот эгоизм, а это вот долг, про-

исходит борьба и так далее. Затем объясняю, что на борьбу и надо обращать внимание, чтоб согласно убеждениям стоять либо за одно, либо за другое, и что вся эта любовная ерунда ничего не составляет... Ну, разъясняю все подробно; слушает. И раз пришел и два... Шпильгагена «Один в поле не воин» притащил, прозудил ей первую часть сам, объяснил. Дальше – больше, выходит, что уж перебираюсь я к ней на квартиру, жильцом; уж мне скучно без нее; есть уж мне с кем слово сказать, потолковать... Как чуть выдастся минутка – за книгу. «Понимаете ли, в чем дело?» – «Понимаю!» – «Не можете ли рассказать своими словами?» Ничего, кое-как да кое-как добирается. «Я, говорит, теперь стала серьезные места понимать, а там, где короткие строчки, то мне не любопытно». Постепенно, таким образом, начинаю я привыкать, думаю, что она прониклась моими воззрениями... Только раз получаю казенную бумагу: «Немедленно явиться в город к г. председателю губернской земской управы для личного объяснения». Что такое? Являюсь, не могу никак сообразить, а уж и в бумаге почуюл я что-то неладное: что-то больно строго написана... Явился, жду. Выходит председатель, да как начал меня пушить справа налево. Свету не взвидел я. «Вы манкируете, злоупотребляете, роняете доверие и уважение к земству», И-и, боже мой! «Позвольте, говорю, ваше превосходительство, узнать, в чем я виновен?» – «А вот в чем!» – и показывает мне целую кучу жалоб от разных лиц: тогда-то приезжали от тифозного – не поехал;

тогда-то требовали в деревню, где сибирская язва, – не поехал; тогда-то привозили сумасшедшую – не принял. Читаю, сам глазам не верю! Я-то? Да мог ли я в мыслях это допустить? Я полагаю в это дело сколько во мне есть совести, да чтобы я себе дозволил? Нет, это неправда! «Ну, чтоб вперед этого не было!» Воротился, рассказываю Анфисе Николаевне и вижу: покраснела она вся, сконфузилась и говорит: «Это я, Михал Михалыч, виновна; потому что я, говорит, вас люблю, жалею... Вы не как прочие... Как же мне вас не беречь?.. Тут приезжают, а вы только что отдыхать легли; ну я и говорю: «не принимают»... А то едут с тифозной горячкой, с язвой с какой-то... Мне вас жалко... Я говорю: «Пошли вы отсюда, бессовестные!» Уж вы меня простите... Этого и в романах не сказано, чтобы под сибирскую язву любезного человека подвергать!» Так меня ровно варом обдало от этих слов... И не врет, а что может быть хуже этих бессознательных выражений? Так с тех пор я и стал от нее сторониться... Так меня и стало от нее относить дальше и дальше... Думаю: «Оставлю я все эти планы, уеду в пустынное место, предамся долгу, а эта женская любовь не подходит ко мне... она мне вредит, совесть мою ослабляет, а как совесть моя погаснет, так что я буду? Только детей распространять? Нет, это не по мне...» Так постепенно и отстал... Получил недавно от нее письмо, пишет: «Теперь я все понимаю и завсегда буду вас будить после обеда, в полночь и за полночь!» Хотел отвечать... да не знаю... Нет у них умственного кругозора!..

Вот в чем вся суть. Доброта есть и все, а что по умственному развитию – одно узколобие! Так лучше это дело оставить и отдать себя на жертву обществу. Вот я как думаю!

– Бог его знает, как оно там, – лениво, сипло и хрипло проговорил мой сосед. – Я тебе прямо скажу: каких-нибудь правильных мыслей у меня, перед истинным богом сказать, нету! Это я верно говорю... Чтобы, например, обсудить по совести, этого я не могу... Когда человек во всем своем смысле запутавши, так он окончательно не может этого... А только что вот говоришь ты насчет, например, глупости, узколобия, так, по-моему, это не так... Нет! И очень даже умные есть, очень способные, – вот что я тебе скажу!

– Я не спорю! Позвольте вам сказать, я вовсе не против этого. Женский умственный мозг иногда достигает до двух фунтов весу, но я говорю вообще, так как...

– Нет, нет, любезный! Я хотя и слоняюсь по свиным хлевам, а тоже иной раз прочхнешься, подумаешь. Я тебе скажу, как меня одна арфистка отработала по морде, так это было даже в высшей степени благородно!

– Я не спорю; я только хотел...

– И не спорь! И я не спорил, потому верно! Следует! Достояно есть – вот как должно об этом думать. Она мне как морду-то наколотила!

Слово «морду» сосед мой произносил также без малейшего оттенка иронии, а как бы с совершенно спокойной уверенностью, что у него именно «морда», а не лицо челове-

ское.

– До такой степени нахлопала, что я три недели на свет божий не глядел, а все-таки должен сказать: хорошо! умно! А ты говоришь – «глупые»! Нет, очень есть умные, братец ты мой! Это завертелся я как-то, закрутил, замутил, зачертил, бултыхнулся в слободку, в «свое место», в свой хлев, ну и, конечно, как в пьяном виде, то уж и хрюкаю во всю!

Помолчав немного и откашлявшись, сосед мой продолжал свою речь так:

– Я коли ежели пьянствую, так я больше безобразничаю, хрюкаю, а не то чтобы... Я и к арфисткам-то склоняюсь потому, что хрюкать-то они не препятствуют: сколько хочешь ломайся; а по амурной части я очень боюсь, потому сыздетства напуган. Чорта я боюсь – вот что! Мы все больше чорта опасаемся. Ежели б чорта не боялись, так от нашего брата совсем бы житья не было, потому бога мы плохо знаем... Так вот, друг любезный, забрался я к моим арфисткам (я их всех арфистками называю, потому все они на одном положении), безобразничаю всячески: и пью, и лью, и ругаюсь. И они тоже, конечно, пьянствуют, жрут пойло... Хрюкал, хрюкал я, да и обругал одну, обругал зря, для своего удовольствия, и должно быть, что вполне осрамил я ее! Хмельна она, что ли, была очень, только не спустила! Аграфеной ее звали. Как обругал я ее всякими словами, как вскочила это моя Аграфена да как принялась лущить и меня и всю нашу братию, так я даже чихать начал, даже, стало быть, хмель стал выхо-

дить... «Ах вы, говорит, мошенники этакие! А кто нас по этакой-то дороге пускает? Кто у нас городскую рощу свел, по миру нас пустил, души наши загубил?»... Да по уху, да по уху! И молчу, потому – верно! Видишь ты, что такое эта роща самая: когда заводился у нас этот анафема банк, так тогда мы действительно богатейшую городскую рощу срубили, бор назывался. Красота неописанная! Дубняк эво какой! Двести десятин этого самого дубняку было, да десятин с двести же разного хорошего лесу! Бывало, никаких болезней нету в наших местах, а уж жили, кажется, кругом в навозе; за зиму-то, бывало, эво сколько всякой язвы вокруг себя наживем, а весной дохнуло из бору, и все выдуло. В прежнее время нешто такие пьяницы-то были, как мы? У нас был дьякон, так тот восемьдесят пять лет пил ежеминутно чайными стаканами, а здоров был как бык; только, бывало, обтирает полотенцем лысину да шею: как хлопнет стакан настойки, так у него сейчас на лысине она и выйдет потом, эво какими ягодами высыпет, что твой крыжовник. Обтер дьякон лысину полотенцем и опять пошел заново! А все от воздуху! Так вот этот-то самый бор мы, умные головы, и свалили до последнего прутика за тридцать пять тысяч; всего его, батюшку, сплавил на керосиновые клепки. Сбухали мы его, отца нашего, и получается у нас основной фонд для банку, для уширения производства и для произвождения потребителя. Отложили мы из этого фонда тысяч пяток, само собой, на благоустройство: столб с фонарем у полиции, столб с фонарем у тюрьмы, столб

с фонарем у исправника, да на площади фонарь, чтобы нам, пьяницам, в реку бы ночью не свалиться и кое-как хоть на четвереньках дом свой разыскать можно было. На «откосе» беседку вывели, музыку поместили, и пошли гулять: «Который был моим папашей! Который был моим мамашей!»¹ И как мамаша с гусем либо с селезнем... и все прочее. Заиграла наша деревня любо два и пошла ходить колесом... Так вот Аграфена эта и завела речь об этой об самой роще, которую мы в основательный-то фонд поворотили и откуда пошло и папаша, и мамаша, и гуси, и селезни, и всякое пьянство... «Нешто бы я была бесчестная, кабы вы, подлецы, рощу-то не срубили? Моя маменька, покойница, в этом же домишке жила, где ты теперь, подлец этакой, сидишь, хрюкаешь; да жила-то она как святая, нас пятерых растила, да весь век честно и чисто прожила, а мы по чьей милости хвосты треплем да совесть свою, как свинья хвост, по грязи волочим?.. Когда роща-то стояла на своем месте, бывало, мы с маменькой и дров оттуда на всю зиму, на все лето натаскаем, и домишко ежели починить, и то иди в бор и бери; роща-то ведь, подлецы вы такие, наша была, общественная. Натаскаем дров, всем нам тепло, вот и не надо нам вас, пьяниц, пускать к себе. А лето придет – земляники наберем, продаем, малины, брусники, ежевики и куманики... И сами едим, и людям

¹ «Который был моим папашей! Который был моим мамашей!» – Купец Тараканов приводит в искаженном виде слова из модной в те годы оперетты Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена».

продаем, и варенье варим. Варенье, морда твоя пьяная, пудами варивали, в Нижний возили, чистые денежки нам давали, не так, как твои, краденые, банковские. А кончатся ягоды – грибы пойдут, и рыжики, и опенки, и белые; и всего мы наберем, наварим, засушим, продадим и сами сыты, и деньги есть, и живем себе, бога благодарим. У меня было приданое почесть все готово, и я бы век прожила честно, благородно, если б вы, поганцы, рощу не свели; самая маленькая сестренка, которую теперича вы должны слопать, и та бы по воскресеньям уж мало-мало рубль серебром на самоварах добыла; ведь по праздникам, по воскресеньям гулять приезжали в бор-то, чай пили... Так как же ты, морда, осмеливаешься меня ругать такими словами? Где лес? Где хворост – угреться, оголиться?» Да рраз по морде! «Где земляника? Где клубника? Где малина? Где ежевика?» Да по морде, да по морде. «Где грибы, опенки? Где грузди? Где подосиновики? Где рыжики?» Да в ухо, да в другое, да в третье, да со щеки на щеку! А я только: «верно! верно! верно!» А она – раз, раз, раз... «Вон из мово дома, преступленная душа!» да поленом по– шее... Я ей двадцать пять рублей, а она меня кочергой! я еще ей двадцать пять, а она меня еще водоносом! Так даже совсем прочхался, бога вспомнил, опамятовался, пить бы-ло хотел перестать, потому дома пришлось сидеть, морду лечить... Вот как умно и благородно вышло! А ты говоришь – «глупы». Нет, брат, очень умны. Уж на что наш брат – саврас, а после этого бою я эту самую Аграфену возлюбил. Ко-

гда зажила морда, пошел к ней трезвый; пришел, говорят: «в лазарете лежит». Так что ж ты думаешь? В лазарет даже пошел, разыскал, спросил: «не надо ли, мол, чего?» – «Купи, говорит, пьяная рожа, мне швейную машину и не смей глаз показывать. Как выйду отсюда из лазарета, так я вас тогда, пьяниц, на сто верст к себе не пущу; буду жить честно!..» И что ж ты думаешь? Купил ведь ей машинку-то! Пятьдесят рублей отдал, послал, а сам уж и глаза боюсь показать. В других местах теперича пьянствую, а Аграфену почитаю. Вот как нас, подлецов, надобно учить! Очень даже умно, а никак не глупо. Ведь как рожу-то раздуло в те поры!

– Я положительно не оспариваю ваших доводов, – робко проговорил фельдшер, – я только хочу обратить ваше внимание на факт полного нерадения относительно гуманных начал и общественных интересов... Говоришь, бывало: «Анна Ивановна! Скажите, пожалуйста, что побуждает вас приставать и самовольно лезть к обер-кондуктору? Ведь вам известно, что у него уж есть, во-первых – жена с детьми; во-вторых – бывшая монашенка с детьми также; в-третьих, наконец, готовится к тому самому продолжению и нянька. Неужели, говорю, вы захотите или согласитесь занять при нем какое-нибудь четвертое амплуа?» Отвечает: «Зачем же это я буду занимать какое-то четвертое амплуа? Никаких амплуа я даже и допустить не могу, потому что я довольно горда, а просто очень может быть, что он полюбит меня вполне безрассудно, и тогда он прогонит всех троих, тогда я и буду

иметь его в самостоятельном распоряжении одна». – «А дети куда денутся?» – «А мне какое дело?» Ну, это как вам покажется? Ведь этикие живорезные идеи хоть бы и палачу так впору... А поглядите-ка на нее так, со стороны, или, как говорится, с птичьего, например, дуазо², так она, Анна-то Ивановна, оказывает из себя довольно милостивую брюнетку... Ручки маленькие и цветочек за ушком... Погуливает по платформе как ни в чем не бывало да ангельским голоском подпекает вот это же самое: «Который был моим папашей, который был моим мамашей»... Вот какие дела-то-с!

– Я, друг любезный, чего не знаю, о том и заикаться не смею. А что касается Аграфены, так завсегда скажу: «хорошо! верно! так и надо!»

– Вы указываете на единичное явление... Я же говорю вообще. Единичные факты и мне известны... Со мной был, например, такой случай. У нас в больнице окромя мужского и женского отделений существовало еще детское, для питомцев воспитательного дома; по этому самому случаю баб я видел на своем веку очень много, и хорошие все наперечет. Ведь ходить за больным, а тем паче за ребенком, надо много, ох! как много жалости к чужому горю. Я говорю про то: ежели хорошо, действительно то есть по совести, по христианству хорошо делать. Разводить сплетни, из-за тряпки поднять целый вавилон или так, зря, наврять, намутить – это

² *Дуазо* (франц. d'oiseau) – птицы. Фельдшер употребляет в искаженном виде известное французское выражение «с птичьего полета» (à vol d'oiseau).

сколько угодно! А по-хорошему-то – раз, два, да и обчелся... Особливо было невмоготу в летнее время: зимой бабы нахватают ребят в воспитательном, потому им деньги нужны, а пришло лето, настала рабочая пора – и являются целыми полками: «Извольте получать детей; нам некогда, жниво». – «Да куда же я их дену?» – «А мы почем знаем? Чай, начальство знает!» И без всякого разговора прямо и валят младенцев. Целую комнату иной раз набьют; и на полу, и на стульях, и под стульями – всё ребята: все орут, рты разевают; хоть вот ложись и умирай! «Да дьяволы вы этакие (иной раз, ей-богу, выйдешь из себя)! Ведь это – человечество! Ведь это – не дрова!» – «У нас, говорят, и своих много!...» – и марш! К этому позвольте упомянуть, что у нас на пункте каждое лето учебный саперный батальон в лагерях стоял, и, следовательно, как есть один остаешься, как перст! Та влюблена – сидит, ревет, та ушла на свидание; та говорит: «обещал жениться, пожалуйста расчет!» То есть, я вам говорю, совершенный ад! Больные стонут, дети орут на все голоса, ни горячей воды, ни чистого белья, ничего! Никого не дозовешься, не докричишься... Бывало – верите ли? – сам на речку ходишь стирать! Вот в таком-то положении и посылает мне господь кроткого ангела. Нанялась в сиделки так девочка лет семнадцати. И ростом невелика, вроде Анны Ивановны; кажется, слабенькая, но что касается души – один пламень! Пришла, послушала, что я говорю, молча все это поняла и потихоньку, не спеша, без разговоров, все дочиста привела в полное

совершенство: все больные напоены, накормлены, белье переодето, все ребята успокоены, лежат, спят; чисты, опрятны, везде чистый воздух; полы вымыла до такой степени – белей снегу. Думаю: «устанет! уйдет!» Ничуть не бывало. Ляжет спать – чуть кто пискнул – она тут, на ногах; и день, и два, и неделя прошла, все то же и без всяких разговоров все сделает, исправит... Рай земной! Положительно сказать, первый раз в жизни встречаю такое явление. Вдруг приводят одного молодого малого, из богатеньких кулачков, торговцев. Пьянствовал, ногу повредил, лечить привезли. Положили. Лежит, поправляется. Вижу, пялит мой кулачишка глаза на эту девушку, на Ольгу. «Что?» говорю. «Хорошая, говорит, Михал Михалыч, порция!» Я говорю: «Ты бы лучше капустные кочерыжки сбирал – вот твоя порция. А это – женщина, да еще какая! Ты рыло-то, говорю, свое сначала лошадиной скребницей оскобли, чтобы позволить себе дышать около нее, не то чтобы думать худо, Дурак!» А малый еще был молодой – понял мои слова, почувствовал. И что больше лежит, вижу, все больше влюбляется, вздыхает, охает. «Жить, говорит, не могу, женюсь!» И Ольга как будто тоже что-то... Она все продолжает попрежнему со всеми бесподобно хорошо обращаться, все у нее вполне великолепно, а есть что-то... Однако малый выздоровел и на выписку идет. «Я, говорит, Михал Михалыч, женюсь на Ольге; сейчас к тятеньке, а завтра приедем с матерью, возьмем ее!» А между тем открывается сибирка, и уж человека два-три было. Вот я и думаю: «Конеч-

но, малый он хороший и Ольга точно ему нравится, но что же должно считать выше и справедливее: общественное ли благо или личный эгоизм? Положим, что я устрою счастье Ольги и молодого парня, и они будут наслаждаться, а эти несчастные дети, больные мужики и бабы?» Что же, спрашиваю вас, справедливее: доставить ли удовольствие двоим, или спасти десятки? Думал, думал; жаль мне и Ольгу и парня, но совесть взяла верх... Выписал я парня, говорю ему: «Пойдем в трактир!» (а сам я отроду не хаживал). Пошли, поставил я пива ему и говорю: «Ты любишь Ольгу?» – «Так точно. Обожаю»; – «Жениться хочешь?» – «Полным законом». – «Хорошо. А знаешь ли ты, какого она поведения? Ведь у нее был, говорю, от меня, от са-мо-го ме-ня ребенок; одного, говорю, она убила, а другого живым зарыла в землю. От этого-то она и тиха, потому что я знаю ее секрет...» Словом, так я ее расписал, что парень мой сидит да глаза таращит, а потом схватился за шапку да задами, через огороды, – домой... После этого иду я к Ольге и говорю: «Тебе, кажется, этот молодой человек понравился?» – «Он сам мне признавался... не как-нибудь... мы в закон». – «Ну так вот что, любезная, я тебе скажу: во-первых, этот молодой человек вор и уж два раза сидел в остроге, а через неделю пойдет в каторжные работы; во-вторых...» И тоже уж постарался! Так постарался, что она ревела, ревела у меня целый день, а потом почувствовалась сразу и опять пошла еще того превосходнее действовать. Истинно золотое сердце! Так вот сколько я дол-

жен был употребить обмана и лганья, чтобы удержать хорошего человека на поприще священных обязанностей!

Рассказчик замолк, позвенел ложечкой в стакане, хлебнул и проговорил:

– Я было думал навсегда ее удержать; ну, признаться, совесть зазрила. Как кончилась рабочая пора, бабы опять тут как тут. «Где наши шпитонцы? Пожалуйте нам!» – «Шпитонцы, дуры вы эдакие? Теперь пришли за шпитонцами, как деньги понадобились, а тогда что делали?..» – «Будет тебе болтать-то! Давай, которые живы, не задерживай... А на место, которые умерли, новых надеть получать. Там, поди, уж про нас эво сколько запасено новины-то!» Ей-богу, истинные есть живорезы из этого сословия... Ну, роздал им остачу (много помирает), ушли, остались мы с Ольгой... Сибирка тоже призатихла. Осень. Баб много. Саперный батальон снялся. Думаю, что я ее мучаю? Говорю: «Оля! ангел бесподобный, а ведь вот я как тебя обманул...» И все ей рассказал. «Я, говорю, сам съезжу к твоему любезному, привезу его...» И точно. Малый сидит как зарезанный: так я его ухлопал. Ну что же делать? Все обошлось как следует... Был на свадьбе... Да и много таких случаев было, но все это единичные атомы... А ежели посмотреть вообще, то положительно душа содрогается... «Модмазель, – говорю одной, – вы должны побуждать своего мужа к честным поступкам и только в таком случае должны его любить. Ежели ж он совершил какой-нибудь подлый общественный поступок, то вы должны

наказать его своим презрением». Что ж мне отвечают? «Я так думаю: который человек будет меня любить и даже готов себя из-за меня прозакладать, тот есть честный человек!» – «А если он обокрадет казну и подарит вам золотой браслет?» – «Кто любит женщину всей душой, тот даже и Сибири не побоится». Это называется любовь! А чтобы позаботиться о прогрессе, это, уж извините, никогда!

– Нет, ничего! Ух-х, как меня тогда Аграфена-то!..

На слове «ух» сосед мой сделал такое усилие, что осипшее горло его как бы захлебнулось, и удушливый, затяжной кашель захватил его дыхание. Всякие разговоры прекратились; фельдшер побежал за водой, я тоже вскочил, прибежала даже буфетчица. Однако все обошлось благополучно.

Примечания

Цикл «Скучающая публика. Очерки, путевые заметки, рассказы», опубликованный в 1884 году в журнале «Русская мысль», состоял из пяти произведений: «Материалы, сообщенные фельдшером Кузьмичовым»; «Материалы, сообщенные купцом Таракановым»; «Общие свойства «скучающей публики»; «Трудами рук своих»; «Мечтания».

В новом цикле рассказов и статей Успенский противопоставлял оживленному настроению шестидесятников, которые чувствовали себя «на пороге новой жизни», унылое настроение интеллигенции эпохи «безвременья», т. е. периода после разгрома революционного народничества. Эта интеллигентная «публика», по утверждению писателя, не имеет ясных, определенных целей, она утратила «вкус, аппетит жизни», не знает, «что ей собственно нужно», у нее отсутствуют «живые интересы живых людей». Эту-то «публику» Успенский и называет «скучающей».

В 1886 году, редактируя тексты очерков для восьмого тома Сочинений, Успенский пополнил свой цикл двумя очерками («Побоище» и «Несколько часов среди сектантов») и значительно видоизменил характер третьего очерка «Общие свойства «скучающей публики».

В Сочинения вошла только вторая часть данного очерка («Верзило»), первая же, в которой Успенский раскрывал

значение заглавия цикла и давал развернутые характеристики различных категорий интеллигентной «скучающей публики», оказалась опущенной.

Очерки «Побоище» и «Несколько часов среди сектантов», впервые опубликованные в «Отечественных записках» (1883), в составе цикла «Из путевых заметок», не связаны органически с очерками цикла «Скучающая публика».

В настоящем издании этот цикл печатается в своем первоначальном составе (пять очерков) по последнему прижизненному изданию Сочинений Успенского.

Последующие годы дали новый материал для характеристики Успенским нравов «скучающей публики», о чем он и писал в ноябре 1887 года В. М. Соболевскому. Эта характеристика была сделана писателем в новой серии очерков «Концов не соберешь» (1888–1889). Успенский дал одному из очерков этого цикла заглавие «Суетные попытки разведелить «скучающую публику», напоминающее об его более раннем произведении.

Мнения фельдшера Кузьмичова о современном обществе

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова, СПб., 1889.

Впервые рассказ напечатан в «Русской мысли», 1884,

№ 9, под заглавием «Материалы, сообщенные фельдшером Кузьмичовым». С новым заглавием «Фельдшер Кузьмичов» и стилистическими исправлениями текста включен Успенским в восьмой том Сочинений (СПБ., 1886). Под заглавием «Мнения фельдшера Кузьмичова о современном обществе», с небольшими стилистическими исправлениями, вошел в последующие Сочинения писателя.

В двух первых рассказах цикла «Скучающая публика» изображены новые типы пореформенной русской жизни.

Фельдшер Кузьмичов – интеллигент из крестьянской среды, посвятивший свою жизнь общественному служению. Успенский показывает, что он служит народу «не на словах, а на деле». Деятельность фельдшера противопоставлена хищнической деятельности представителей буржуазии.

Сохранившиеся в архиве писателя рукописные отрывки свидетельствуют о тщательной работе Успенского над рассказом о фельдшере Кузьмичове. Современная критика отметила высокое мастерство речевых характеристик персонажей писателя.

Первые рассказы были, повидимому, несколько сокращены редакцией «Русской мысли» из-за боязни цензурного запрета. В письме к Г. Успенскому секретарь журнала Н. Н. Бахметьев писал: «Вы несправедливо строги к «Скучающей публике». Все читавшие очень довольны этими очерками. Они настолько яркие, так доказательны, что даже в сильно оцензуренном виде представляют поразительно верную ха-

рактистику русского общества текущих дней. Простите мне выкидки, урезки. Ничего не поделаешь. «Плетью обуха не перешибешь», а обух этот у нас все еще над головой висит. Пришлось и о переселенческих неурядицах зачеркнуть: это один из цензурно-щекотливых вопросов. Есть даже особый по этому предмету циркуляр».

В 1891 году Успенский создал на основе своих произведений о фельдшере и купце новый рассказ «Аграфена».

Рассказ этот, предназначенный для народного издания, вызвал негодование цензора С. Н. Коссовича. В докладе от 16 мая 1891 года он обращал внимание Петербургского цензурного комитета на мрачные краски в обрисовке купца и требовал запретить рассказ, который может вызвать у читателей-крестьян «неприязнь и ненависть ко всему купеческому сословию». Однако комитет не согласился с доводами цензора. Указав, что Успенский отметил «дурные стороны не общие всему классу, а лишь присущие некоторым из лиц купеческого сословия», комитет разрешил публикацию рассказа (Г. Успенский. Аграфена. – Не знаешь, где найдешь, изд. В. И<кскуль>, М., 1892).